А. КРУЧЕНЫХ

ЛИКИ ЕСЕНИНА

ОТ ХЕРУВИМА ДО ХУЛИГАНА

ИЗДАНИЕ АВТОРА
Москва—1926

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Исследователю творчества поэта всегда приходится принимать во внимание его биографию, потому что всегда существует между творчеством и жизнью взаимозависимость. Иногда она слаба, едва заметна. Иногда, наоборот, она сразу бросается в глаза и является чрезвычайно важной, определяющей. Именно так было у Есенина. Так тесно была связана его личная судьба с судьбой поэтической, что невозможно рассматривать одно без другого. Линии его жизни и его поэзии были параллельны и только в смерти они пересеклись, как всякие параллельные линии пересекаются в бесконечности. В задачи нашей работы входит установление и исследование связи Есенина — человека и Есенина — поэта.

http://ruslit.traumlibrary.net

- Алексей Елисеевич Крученых
  -
  - Лики Есенина. От херувима до хулигана
  - Книги А. Крученых
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8

Алексей Елисеевич Крученых
Лики Есенина. От херувима до хулигана

А. КРУЧЕНЫХ

ЛИКИ ЕСЕНИНА

ОТ ХЕРУВИМА ДО ХУЛИГАНА

ЕСЕНИН В ЖИЗНИ И ПОРТРЕТАХ

ПРОДУКЦИЯ № 157

ПОРТРЕТЫ РИСОВАНЫ
В. КУЛАГИНОЙ

ИЗДАНИЕ АВТОРА
МОСКВА 1926

Лики Есенина. От херувима до хулигана

(Есенин в жизни и портретах)

Исследователю творчества поэта всегда приходится принимать во внимание его биографию, потому что всегда существует между творчеством и жизнью взаимозависимость. Иногда она слаба, едва заметна. Иногда, наоборот, она сразу бросается в глаза и является чрезвычайно важной, определяющей. Именно так было у Есенина. Так тесно была связана его личная судьба с судьбой поэтической, что невозможно рассматривать одно без другого. Линии его жизни и его поэзии были параллельны и только в смерти они пересеклись, как всякие параллельные линии пересекаются в бесконечности. В задачи нашей работы входит установление и исследование связи Есенина — человека и Есенина — поэта. Когда Есенин только что покинул деревню и впервые появился в крупных городах (это время приблизительно совпадает со временем начала его поэтического творчества) — он принес с собою наивную идиллию деревни, но деревни не реальной, а идеализированной, прикрашенной поэтическим воображением. Эти идиллические настроения долго звучали в его стихах. Уже после нескольких лет пребывания в городе, именно, в 1918 г., он еще жил, как поэт, образами воображаемой деревенской обольстительности. Это ярко проявилось, например, в небольшой книжке его стихов «Сельский часослов»[1]:

Земля моя златая!
Осенний светлый храм!

…Вижу вас, злачные нивы,
С стадом буланых коней.
С дудкой пастушеской в ивах
Бродит апостол Андрей…

…Древняя тень Маврикии
Родственна нашим холмам,
Дождиком в нивы златые
Нас посетил Авраам.

…Свят и мирен твой дар[2]
Синь и песня в речах…

…Все мы — яблони и вишни
Голубого сада.
Все мы — гроздья винограда
Золотого лета.

Так — нежным и прельстительным — предстоял мир фантазии поэта. И та же нежная, херувимски-женственная наивность, которая звучит в этих стихах, проявлялась в ту пору и во внутреннем мире и даже во внешнем облике Есенина.

С. Есенин (в 1916 г.)

Перед нами его портрет, рисованный в 1916 году. С портрета смотрит совсем юношеское, несколько женственное, лицо. Овал его удлинен и мягок. Угол челюсти почти не заметен. На лоб нависают мягкие кудрявые волосы. И даже военный защитный костюм, в котором изображен Есенин, не делает его мужественным и грубым. Портрет сделан цветными

карандашами. Благодаря этому, он много теряет в воспроизведении: так, например, нежно-красные губы на снимке кажутся просто накрашенными, слишком темными. (Портрет см. в «Гибели Есенина», 2-ое и 3-е изд. Для настоящей книги сделан с него рисунок тушью). Существуют еще более ранние портреты Есенина. Нам известна его фотографическая карточка, относящаяся к 1914 году. Там еще более выразительно все то, что мы отметили в портрете 1916 года. Продолговатое лицо, отрочески-нежное, кажется почти девичьим. Последнее, впрочем, может обгоняться, во-первых, своеобразной полуженской прической и, во-вторых, слащавой ретушью фотографа. Именно потому, что ретушированная фотография не заслуживает полного доверия, мы и не сочли нужным ее воспроизводить.

Но вернемся к стихам. Подобно тому, как образ Есенина (по двум описанным портретам) поразительно противоположен образу представителя современности — мужественного и закаленного революцией, — и отравы его тогдашних стихов безнадежно далеки и от современности вообще и от революции, в частности. Выше мы привели ряд цитат из «Сельского Часослова». Да и одно название книжки уже достаточно красноречиво. В книжке есть кое-где слабые упоминания о «Железном слове — Республика», но на фоне мистических, церковных, поповских мотивов, эти упоминания звучат крайне неубедительно. Из стихов совершенно ясно видно, что до «Республики» Есенину гораздо меньше дела, чем до «апостола Андрея», «Авраама», «Светлого храма», «Мати пречистой девы» и т. д. и т. п.

И невольно приходит в голову: не носят ли в себе эти образы (несмотря на неоднократные повторения слов: нежный, златой, светлый) зачатков темного смятения, которое одолевало Есенина в последние годы его жизни? По всей вероятности, это именно так. Уж очень все эти розовые света и голубые платы далеки от жизни, так далеки, что при столкновении поэта с жизнью, они несомненно должны были разбиться — стать острыми и печальными осколками. Так и сталось впоследствии с настроениями Есенина — и, может быть, с ним самим. Гениальная интуиция Велемира Хлебникова подсказала ему еще в 1921 г. следующую подпись под одним из портретов Есенина:

Полетевший
Из Рязанских полей
в Питер
ангелочек
делается типом Ломброзо
и говорит о себе

«я хулиган».[3]

Вот верное слово — «ангелочек», вербный херувим. «Не от мира сего» были стихи Есенина периода «Сельского часослова». И это же «не от мира сего» звучит двумя годами позже (в 1020 г.) в сборнике Есенина «Голубень»:

…Молитвой поим дол…

…«О, дево
Мария…»
поют небеса:
«На нивы златые
Пролей волоса»…

…О, боже, боже,
Ты ль
Качаешь землю в снах?

…С златной тучки глядит Саваоф…

…Когда звенят родные степи
Молитвословным ковылем…

…Вострубят божьи клики
Огнем и бурей труб…
Но тот, кто мыслил девой,
Взойдет в корабль звезды.

Просто странно, что подобные строки писались я печатались в 1920 году, когда подавляющее большинство населения России мыслило не «Девой», но революцией и когда земля не «качалась в снах», а гудела и вздрагивала от залпов гражданской войны. Есенин в стихах «Голубени» бесконечно далек от окружающего. Но гибельность его «неземной» позиции уже сказывается в этом сборнике. Здесь впервые (еще слабо) начинают звучать те мотивы безнадежности и обреченности, которые в последние годы жизни поэта выпрут, станут краеугольным камнем его творчества.

…Но и тебе из синей шири
Пугливо кажет темнота
И кандалы твоей Сибири
И горб уральского хребта.

…Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний сгнет…

И меня по ветряному свею
По тому ль песку
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску

И хотя

…Богородица
Накинув синий плат,
У облачной околицы
Скликает в рай телят.

(Преображение)

— но на земле животные отмечены знаком гибельной обреченности (дальше говорится о корове):

Скоро на гречневом свее
С той же сыновней судьбой
Свяжут ей петлю на шее
И поведут на убой.

И борьбы с этой всемирной обреченностью у Есенина нет. Ему думается, что борьба бесполезна и он отказывается от нее, сознавая, что:

И не избегнуть бури,
Не миновать утрат.

Во всех этих строках, особенно в предчувствии, что «и он кого-нибудь зарежет под осенний свист» и т. п. — намечается то настроение самоосуждения и горечи, которое потом определится в строках:

…Я такой же, как вы пропащий…
…Но и сам я разбойник и хам
И по крови степной конокрад.

и особенно в бесчисленном повторении о себе слова «хулиган». И так, мы видим, что уже в «Голубени» — «ангелочек» иногда готов сказать о себе «я хулиган».

И, если к 1920 году как-то повернулось поэтическое настроение Есенина, то и личная жизнь его пошла по новому направлению. В то время Есенин уже хорошо познакомился с буйным и путаным бытом московских поэтических кафе, воспринял мрачный разгул богемы, задыхающейся в воздухе революции. Портрет Есенина, относящийся к этому времени, чрезвычайно показателей. Он совершенно не похож на портреты 1914-16 годов. Женственная мягкость овала лица исчезла совершенно. Крепко сжатые челюсти выдаются острым углом. Губы сомкнуты с выражением упрямства и горечи. Глаза запали. Волосы падают на лоб — по не по-прежнему; это уже не мягкие кудри; они жестки и непокорны. И общее выражение лица — уже не выражение наивной радостности и удивленности. По морщинкам у глаз, по намечающейся скорбной складочке в уголках губ, можно предсказать всю будущую горечь и мрачность настроения поэта.

К 1920-21 годам Есенин стал на определенный путь, с которого он уже не сходил до конца дней своих. В жизни это был путь сумятицы и разгула, в поэзии это был путь, конечным пунктом которого явилась «Москва Кабацкая» — опоэтизирование кабацкого пропада и неизбежности самоубийства.

Отдаленным отзвуком прежних настроений еще звучат в «Москве Кабацкой» некоторые строки. Еще чем-то прельстителен образ мира в следующих, например, строках:

Будь же ты навек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть,

Но из других стихов периода «Москвы Кабацкой» ясно что момент «процветания» слаб и бледен по сравнению о неизбежным стремлением «умереть». (Недаром это слово последним — и поэтому особенно остро запоминающимся — оказывается в книжке «Москва Кабацкая»)…

— Друг мой, друг мой, прозревшие вежды
Закрывает одна лишь смерть.

Вместе с ясными радостными настроениями исчезли из стихов Есенина идиллические образы воображаемой пастушеской и хороводной деревни. Есенин в «Москве Кабацкой» почти в

каждом стихотворении упоминает о городе — упоминает с проклятиями, правда, но забыть о нем уже не может. Деревенские просторы остались для него только недостижимым идеалом. Возвращение на родину — ни в жизни, ни в стихах ему не удалось. Город засосал его. И если бы это был советский город труда и строительства — Есенин не погиб бы. Но он нашел в Москве только «Москву Кабацкую», он попал в гибельную среду, своеобразной мучительной любовью полюбил ее, и она его затянула и уничтожила:

А когда ночью светит месяц,
Когда светит… Чорт знает как!—
Я иду, головою свесясь,
Переулком в знакомый кабак.

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт…

И результат всего этого:

Я такой же, как вы, пропащий.

Иногда Есенин пытался перестать быть «пропащим», спастись от пьяного разгула, но это ему не удавалось, он возвращался в атмосферу кабака и застревал там еще прочнее. В воспоминаниях о Есенине Воронский так описывает одну ив встреч с поэтом в этот период (см. «Красная Новь», № 2 1926 г.):

> …«появился Есенин. Он пришел, окруженный ватагой молодых поэтов и случайно приставших к нему людей. Он был пьян и первое, что от него услыхали, была ругань последними, отборными словами. Он задирал, буянил, через несколько минут с кем-то подрался, кричал, что он — лучший в России поэт, что все остальные — бездарности и тупицы, что ему нет цены. Он был несносен и трудно становилось терпеть, что он делал и говорил»…

И дальше в воспоминаниях Воронского есть строчки совершенно примечательные: при появлении Есенина. —

…«Сразу обнаружилось много пьяных, как будто Есенин принес и гам и угар».

Здесь чрезвычайно верно подмечено, что есенинские настроения периода «Москвы Кабацкой» гибельны не только для него самого. Есенин не только в случайную писательскую компанию, где его встретил Воронский, но и в литературу «принес и гам и угар». Есенизм заразителен. И недаром после смерти Есенина в десятках и сотнях стихотворений, посвященных его памяти, сквозь естественную скорбь о безвременной и бессмысленной гибели поэта, прорываются нотки восхищения тем образом жизни и тем способом смерти, которые избрал себе Есенин.

Слово Есенину

…Есть ужас бездорожья
И в нем… конец коню,
И я тебя, Сережа,
Ни капли не виню…

Цветет, кипит отчизна.
Но ты не можешь петь.
А кроме права жизни
Есть право умереть.

Иосиф Уткин. («Молодая Гвардия» № 1, 1926 г.).

Оказывается, что лукавый херувим сумел внушить даже комсомольцам соблазнительную свою философию насчет «миров иных». Это объясняется тем, что Есенин и в самый смутный и разгульный период не потерял для многих привлекательности — и как поэт, и как мятущаяся человеческая личность. Возможно, что эта привлекательность кажущаяся, но это уже другой вопрос. Во всяком случае, она на многих действовала. И в то же время в стихах и жизни Есенина в последние годы было что-то невероятно-грустное и страшное. Эту двойственность отметил в своих воспоминаниях Воронский. Вот как он описывает внешность Есенина в этот период:

…«весь внешний вид Есенина производил необычайное и непривычное впечатление. И тогда же отметилось: правильное, с мягким овалом, простое и

тихое его лицо освещалось спокойными, но твердыми голубыми глазами, а волосы невольно заставляли вспоминать о нашем поле, о соломе и ржи. Но они были завиты, а на щеках слишком открыто был наложен, как я потом убедился, обильный слой белил, веки же припухли, бирюза глаз была замутнена и оправа их сомнительна. *Образ сразу раздвоился*: сквозь фатоватую внешность городского уличного повесы, фланера, проступал простой, задумчивый, склонный к печали и грусти, хорошо знакомый облик русского человека средней нашей полосы. И главное: один облик подчеркивал несхожесть и неправдоподобие своего сочетания с другими, словно кто-то насильственно и механически соединил их, непонятно зачем и к чему. Таким Есенин и остался для меня до конца дней своих, не только по внешности, но и в остальном».[4]

С. Есенин (периода «Москвы Кабацкой»)

Да, таким, — двойственным, — остался Есенин до конца дней своих. Он погиб оттого, что взяла верх вторая натура «городского уличного повесы и фланера», «скандалиста» и «хулигана», по выражению самого Есенина. Но и первая его натура носила в себе зачатки гибели. Напрасно Есенин полагал, что его прошедшая юность была чем-то здоровым. Она была может быть для него привлекательной — и только. Нездоровая церковно-мистическая закваска первого периода есенинской поэзии, была сама по себе гибельна. Идиллические образы вымышленной деревни и поповщины не могли вывести его поэзию на настоящую плодотворную дорогу. Не удивительно, что, попав из деревни в город, Есенин застрял в самом дурном его уголке. Предыдущее его творчество не носило в себе ничего такого, что дало бы поэту возможность в городе соприкоснуться с подлинной, новой действительностью и дать ее отображение в своих стихах. И поэзия и личная жизнь Есенина кончилась в Москве Кабацкой. Если мы всмотримся в один из последних портретов Есенина[5], мы увидим, что лицо его под конец жизни носат на себе отпечаток близости полного распада. Это помятое, скорбно усмехающееся лицо человека, говорившего:

> Я такой же, как вы, пропащий.

Незавитые волосы в беспорядке мечутся по лбу, нависли на глаза. Около губ пролегли глубокие складки. И — самое разительное — припухли веки и сощурились, сузились глаза. Невольно вспоминаются безнадежно-скорбные строчки:

> Я на всю эту ржавую мреть
> Буду щурить глава и суживать.

Действительно, этот портрет Есенина — изображение человека, которому окружающий мир стал «ржавой мретью», мороком, и который чтобы вдруг не увидеть хужева старательно прячет от него свои глаза.

Но Есенину не удалась попытка «не увидеть хужева». Под конец жизни, он, в добавление ко всем своим ужасам и скорбям, увидел худшее, что может увидеть человек — бредовой, безумный образ обличителя и хулителя — чорного человека. Поэма «Чорный человек» — последняя большая вещь Есенина. После такого смертельного отчаяния, сознания своего банкротства во всех областях литературной и личной жизни, которые проявились в этой поэме — Есенину, ничего, кроме смерти, не оставалось.

«Чорный человек» подводит итоги жизни Есенина. И в самых последних стихах Есенина нет уже никаких попыток свернуть с гибельной дороги. В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей. Так он окончательно осудил жизнь и окончательно принял небытие. Слабые попытки стать здоровым советским поэтом после ряда неудач, уже не возобновлялись. Правда, он слабо сознавал:

Что в той стране, где власть Советов,
Не пишут старым языком,

но он сознавал также и то, что задачи новой поэзии — не по нем

…так неумело
Шептал бумаге карандаш.

Действительно, Есенин, бредовые стихи которого о «Чорном человеке» иногда производят по настоящему сильное впечатление — в «советских» стихах беспомощно топтался на истрепанных и надоевших путях и образах — общих местах. И, вероятно, не могло быть иначе: вся его литературная и личная жизнь (теснейшим образом связанные одна с другой) подготовили его к неизбежной развязке.

С. Есенин (1925 г.)

Горестный путь — от херувима до хулигана — прошел Есенин. Этот путь мы стремились охватить в настоящей нашей работе. Выводы, к которым мы пришли, вполне подтверждаются и прекрасно иллюстрируются собранием стихов Есенина[6]; от первой страницы большого тона к последней — пролегает тяжкий путь поэта.

В начале книги помещены молодые, радостные по настроению, деревенские и церковные по темам, — стихи. Здесь мы читаем:

…Калики…
Поклонялись пречистому спасу.

(1910 г.).

…Счастлив, кто в радости убогой,
Живя без друга и врага,
Пройдет проселочной дорогой,

Молясь на копны и стога.

(Приблизительно 1914 г.).

Пусть «убогая» радость, но все же радость, овеянная молитвенным покоем:

Хаты — в ризах образа.

(1914 г.).

Этот молитвенный покой глубоко несозвучен современности, да и в 1914 году он был нежизнен и, пожалуй, ненужен. Но самому поэту он казался прельстительным, и в настроении Есенина было нечто светлое.

Но это светлое настроение быстро стушевывается и под конец исчезает совершенно. К середине книги все ярче и ярче начинают прорываться в стихах темные, грустные нотки, которые, ближе к концу, превращаются в сплошной вопль отчаяния и безнадежности. Мы позволим себе процитировать полностью два стихотворения, чрезвычайно показательные в этом отношении.

Здесь уже нет речи о счастьи, тишине и молитве. Стихи говорят о глубоком душевном надрыве, о бессмысленном пьяном буйстве и ругани (написаны в 1922-23 г.):

Пой же, пой! На проклятой гитаре
Пальцы пляшут твои в полукруг.
Захлебнуться бы в этом угаре,
Мой последний, единственный друг.

Если прежде друг был не нужен («счастлив, кто… живя без друга»), потому что и без друга жизнь была какой-то ценностью, то теперь — этот «последний, единственный друг» — последняя соломинка, за которую хватается утопающий. То, что поэт сознает себя утопающим, гибнущим, — ярко выражено в следующих строках:

Не гляди на ее запястья,
И с плечей ее льющийся шолк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно *гибель* нашел.

(Здесь и дальше курсив наш).

Я не знал, что любовь — *зараза*,
Я не знал, что любовь — *чума*,
Подошла и прищуренным глазом
Хулигана *свела с ума*.

Сумасшествие, зараза, чума, гибель — вот как рисуется любовь Есенину теперь. А ведь в более ранних стихах он мечтал о том, что любовь «явится ему, как спасенье». В тот период и любимая женщина представлялась его сознанию нежной и трогательной. Теперь она стала темным призраком, символом безобразной и бессмысленной жизни, «кабацкого пропада»[7]:

Пой, мой друг. Навевай мне снова
Нашу прежнюю буйную рань.
Пусть целует она другова
Молодая, красивая *дрянь*.

Интересно отметить, что образ любимой женщины у Есенина всегда соответственен, подобен тому образу самого поэта, который он рисует в своих стихах. Сам был светлым и кротким — и она была такой же. Сам стал «хулиганом» — и она стала «дрянью». И именно потому, что самого себя бичевать — мучительно, и ее он на минуту щадит:

Ах, постой. Я ее не ругаю.
Ах, постой. Я ее не кляну.

Но пощада продолжается но более одного мгновения. В следующих строках поэт в темнейшие низины низводит и свой образ и образ возлюбленной:

Дай тебе про себя я сыграю
Под басовую эту струну.
Льется дней моих розовый купол
В сердце снов золотых сума.
Много девушек я перещупал,
Много женщин в углах прижимал.
Да! Есть горькая правда земли,
Подсмотрел я ребяческим оком:
Лижут в очередь кобели
Истекающую … соком.

«Розовый купол» и «золотые сны» не спасли от черного провала. Жизнь покатилась вниз и поэт чувствует, что это уже непоправимо:

Так чего ж мне ее ревновать,
Так чего ж мне болеть такому
Наша жизнь — простыня да кровать.
Наша жизнь — поцелуй да в омут.

«В омут»… Невольно приходит на мысль, что поэт предчувствовал свою гибель. Но ведь надо же куда-нибудь деваться от нестерпимого сознания близкой гибели. И вот — отчаянный, истерический, последний разгул:

Пой же, пой! В роковом размахе
Этих рук роковая беда.
Только знаешь, пошли их на…
Не умру я, мой друг, никогда.

Уверенный в том, что смерть близка, что она надвигается и вот-вот задавит — он старался внушить самому себе и своему «последнему другу» мысль о собственном бессмертии. Но «роковая беда» все-таки неотступно шла за ним по пятам и в конце-концов настигла его…

Вот еще одно стихотворение того же периода, что и первое. В некоторых его строках надрыв чувствуется еще острее:

Сыпь, гармоника. Скука… Скука…
Гармонист пальцы льет волной.
Пей со мной, паршивая сука,
Пей со мной.
Излюбили тебя, измызгали —
Невтерпеж.
Что ж ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?

«Невтерпеж»… — некуда деваться от смертельного отчаяния, кроме как в пьяный угар: «Пей со мной». Но и в попойке не легче, и горькая досада берет, и спутница — не мила:

В огород бы тебя на чучело
Пугать ворон.

До печенок меня замучила
Со всех сторон.
Сыпь, гармоника, сыпь, моя частая.
Пей, выдра, пей.
Мне бы лучше вон ту, сисястую, —
Она глупей.

«Чем хуже, тем лучше». «Она глупей», — ладно, пусть: ни в чем нет спасения, может быть оно найдется в «глупой», животной, мясистой любви. Но и любовь оказывается спасеньем не была и не будет:

Я средь женщин тебя не первую…
Не мало вас,
Но с такой вот, как ты, со стервою
Лишь в первый раз.

И чем дальше, тем острее надрыв:

Чем больнее, тем звонче,
То здесь, то там.
Я с собой не покончу,
Иди к чертям.

«Не покончу», — разве это обещание успокаивает? Наоборот: так горько сказано оно, что воспринимается в обратном смысле. Над тем, что в таких выражениях обещает остаться жить, — непременно маячит револьвер или веревка.

К вашей своре собачьей
Пора простыть.

Могильным холодом тянет от этого последнего «простыть». И все таки жалко жизни, мучительно хочется все темное бросить, во всем «пропащем» раскаяться:

Дорогая, я плачу,
Прости… Прости…

Но «прости» звучит, как «прощай», как последнее слово перед смертью…

Оба цитированные нами стихотворения производят необычайное впечатление. В них мрачный пафос кабацкого отчаяния достигает последнего предела. Эти, самые жуткие стихотворения, являются в то же время и одними из лучших у Есенина. Вообще, в последний период его творчества, ему лучше удавались строки о мрачном разрушении (вроде вышеприведенных) нежели строки о светлом строительстве («Стансы» и проч.). Это вполне понятно: поэт всегда лучше всего пишет о том, что созвучно его внутренней жизни. А внутренняя жизнь Есенина в последние годы было только дорогой к смерти. И недаром вся книга заканчивается принятием этой смерти:

…Цветы мне говорят — прощай,
Головками склоняясь ниже,
Что я навеки не увижу
Ее лицо и отчий край.

Любимая, ну, что ж! ну, что ж!
Я видел их и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

Когда гибель неизбежна, остается ее принять. Так решил Есенин. Так, соответственно своему решению, он сам расположил стихи в книге[8], которой ему уже не суждено было увидеть напечатанной.

* * *

Более подробно и с большим количеством примеров мы говорим о 1-м томе «Собрания стихотворений» в готовящейся к печати нашей работе: «Новый Есенин».

Книги А. Крученых

1925-6 г.г.

126. А. Крученых. — «Леф-агитки Маяковского, Асеева, Третьякова». М. 1925 г.

127. Его же. — «Заумный язык у Сейфуллиной, Вс. Иванова, Леонова, Бабеля, Ар. Веселого». М. 1925 г.

128. Его же. — «Записная книжка Велемира Хлебникова». М. 1925 г.

129. Его же. — «Язык Ленина». М. 1925 г.

130. Его же. — «Фонетика театра». 2-е изд. М. 1925 г.

131. Его же. — «Против попов и отшельников». М. 1925 г.

132. Его же. — Ванька-Каин и Сонька Маникюрщица.

133. Его же. — Календарь.

134. Его же. — Драма Есенина.

134а. Его же. — Гибель Есенина.

135. Его же. — Есенин и Москва Кабацкая.

136. Его же. — Чорная тайна Есенина.

notes

Примечания

1

Изд. Московской трудовой артели художников олова. Москва, 2-й год 1-го века (т.-о. 1918 г.).

2

«Твой» — мужика, крестьянина, мистически возвеличенного в воображении поэта.

3

См. «Записная книжка Велемира Хлебникова». Изд. Всероссийского Союза Поэтов. Москва, 1925 г.

4

А. Воронскнй. — «Памяти Есенина» (из воспоминаний) «Красная Новь». 1926 г. Книга вторая.

5

Воспроизведен на обложке нашей книги «Есенин в Москва Кабацкая». Здесь же дается рисунок с фотографии.

С. Есенин. Собрание стихотворений, т. I, Гиз, 1926 г.

Выражение А. Воронского.

8

Есенин сам подготавливал стихи к этому изданию. Потому расположение их зависело от воли автора.